

Всю дорогу от госграницы СССР до Шинданда — небольшого афганского городка, где среди прочих войск стоял и наш 126-й отдельный автомобильный батальон, — в кабине головной командирской машины скулил, лёжа на полу в ногах у ротного, кутёнок. Двухдневный пятисоткилометровый марш-бросок по горам и пустыне в пик жары афганского лета для месячного щенка, лишь вчера оторванного от мамки, был едва ли посильной задачей, но старлей Дулов уж очень не хотел оставлять до следующего рейса подарок друзей-пограничников и решился-таки взять его к себе в батальон, чёрт-те куда, через пол-Афганистана.

— Не, ну, сам посуди, в следующий раз приедешь, скажут, что отдали уже кому! Да и когда ещё в Союз-то вырвешься, неизвестно! — вроде как оправдывался Дулов перед водителем своей командирской машины. — Ничего, сейчас приедем, отлежится, отъестся и повеселеет!

— Угу! — угрюмо соглашался Сергей Олефиоров, которому за эти два дня уж раз десять приходилось мыть заблёванные щенком резиновые коврики. Кутёнок поначалу жадно лакал разбавленную водой сгущёнку и тёплую жижу из банки подогретой тушёнки, но через несколько километров пути всё это у него выворачивало наружу.

Колонна тормозила, щенку давали передышку, он ползал в тени, под кузовом, между колёс “КамАЗа”, Олефилов споласкивал коврики, ротный курил, приглядывая за неуклюжим, на толстых лапах щенком, который принохивался к раскалённой резине скатов, терпкому запаху солярки, отворачивался от нагутаиненных берцев Дулова, от запаха которых его, похоже, тошнило, как и от всего кабинного амбре, в котором везли несчастную собачонку на войну.

Кроме всех прочих радостей, которые дарит общение с братьями нашими меньшими, Дулов преследовал и сугубо меркантильную, практическую цель. Хорошо бы, мечтал он, натаскать собаку на обнаружение взрывчатки, можно было бы брать её с собой в рейсы: не понравилось чего в дороге — пустить вперёд псину, поискать, не прикочаили ли чего друзья-душманы. Для ротного, которому по должности полагалось находиться в головной машине, это представлялось совсем не лишним делом. Когда случалось объезжать завалы на дорогах или взорванные мосты — рядом по сухим руслам рек, по колее в щебёнке, — что скрывать, посасывало под ложечкой, и ему, вроде как атеисту, сразу же и о Боге вспоминалось... Пока что Бог миловал!

Опять же — привалы на ночлег: как правило, колонну приходится тормозить в одних и тех же местах, у ручьёв или на удобных возвышенностях, под прикрытием скал, сокращая возможности внезапного нападения. Все эти биваки были давно под присмотром “духов”, и каждый раз, тормозя колонну на привал, Дулов словно въезжал на минное поле, ожидая под колёсами фугас. Сапёров им в прикрытии не давали, всё своими силами. Выйдет командир, потопчется на площадке, на глазок прикинет, нет ли чего подозрительного, и махнёт рукой — заезжай! Разминирование методом вытаптывания! Лотерея, в общем. То ли дело с собакой, да ещё от рабочих родителей — пограничных немецких овчарок!

За щенка Дулов щедро накрыл погранцам поляну — выкатил ящик шампанского, полдюжины водки, несколько коробок тушёнки, фруктов и прочей снеди из ротных запасов и с местного, кушкинского рынка. За дружным застольем окрестили щенка. Мамаша была Клеопатрой, потому сучке тоже полагалось имя на “К”. Щенок весь вечер просидел на коленях, Клёпа беспокойно следила за ним, периодически выползала из своего гнезда в углу палатки, подходила, тыкалась в руки Дулову, облизывала дочку, словно понимая, что скоро расстанется с ней. Перебрав и забраковав все женские имена — и русские, и нерусские, — перешли к названиям рек, городов. И тут Дулова осенило: да чего тут думать — Кушка! По месту рождения. Так и крестили, вышив за Кушку по полстакана водки.

К вечеру второго дня рейса Кушка изнемогла и уже даже скулить перестала, лежала на коленях Дулова с полузакрытыми глазами.

— Помрёт собачина до Шинданда, — скептически заметил Олефилов, — умаяясь вусмерть. Ей бы к мамке под тёплый бок, молочка, да поспать!

Дулов молчал. У него тоже не было уверенности на этот счёт. Сердце его сжималось от жалости, он уже не обращал внимания на заслонявленную панаму, в которой свернулся кутёнок, и сожалел, что так рано оторвал щенка от мамы. Кушка уже ничего не ела, не пила, зной за бортом — под пятьдесят градусов, а в кабине, даже при всех открытых стёклах и форточках, — ничуть не меньше. Время от времени ротный поливал осторожно из фляги лохматый комок, щенок едва вскидывал голову, словно благодарил хозяина, и вновь утыкался сухим носом в лапы. Зрелище было настолько щемящее, что сердце старлея разрывалось от жалости и сострадания, хотя, казалось, за этот год войны в нём не осталось места ни чувствам, ни сантиментам.

Однако кутёнок оказался крепким и всё-таки, мужественно перенес все тяготы и лишения первого своего афганского рейса, благополучно прибыл на место постоянной дислокации — в полевой лагерь автобата, расположившийся на равнинной окраине Шинданда. Дня два он не вылезал из-под кровати Дулова, отсыпался, вяло хлебал из миски разведённую сгущёнку, временами поскуливал, а потом неожиданно пришёл в себя, выскочил боком, хвостом, протявкнул что-то и ухватился зубами за сушившийся носок, который Дулов приткнул одним концом под матрас своей железной солдатской койки. Носок выстрелил в морду, Кушка, не выпуская его из пасти, уселась

на него и завязала отчаянную борьбу, пытаясь резкими рывками выдернуть его из-под себя.

— Оклемалась девочка! — радостно сполз к ней на пол Дулов, потянул из пасти носок, дразня и играясь с Кушкой. Кутёнку понравилась эта борьба: грозно рыча и отчаянно дрыгая всем телом, она билась за свою добычу!

— Ну, всё! Прячь теперь тапочки, обувь, носки — всё ведь погрызёт, — констатировал сосед по комнате, взводный лейтенант Маньшин, с интересом наблюдавший со своей койки за ротным и щенком.

— Да, жалко тебе барахла казённого?! Спишем на “боевые”, получишь взамен новое, — примирительно махнул рукой Дулов.

Кушка вскоре стала любимцей всего офицерского модуля, подросла и свободно бегала из комнаты в комнату, благо двери, как и окна, из-за жары все держали открытыми. Она подъедала остатки пайка, баловалась сгущёнкой, съедала за раз по полбанки тушёнки и, как ни боролся Дулов с этим безобразием, через пару месяцев выросла в толстый, круглый и пушистый шар, стала псиной на крепких мягких лапах и с таким проникновенным взглядом хитрющей морды с торчащими, как локаторы, ушами, что редко кто мог остановить себя и не сунуть ей в пасть какое-нибудь лакомство!

— Братцы, нельзя собаке сладкого, погубите псину, — взывал к советски сослуживцев Дулов. Но всё бесполезно: каждый считал, что одна печенка или конфета собаке не повредит, и тайком совал ей вкусняшки.

И ещё всем нравилось имя щенка — Кушка! Офицеры шиндандского автобата очень уж любили этот пыльный страшенький городок на самой южной окраине Советского Союза, редкая удача была вырваться из Афгана через границу в Кушку, на погрузку. Это громко называлось — выехать в Союз! Можно было забежать на телеграф и запросто позвонить родным, отправить домой посылку, телеграмму. Можно сходить в местный ресторанчик “Северный полюс” и выпить холодного шампанского или местного пусть и невкусного, но пива (!), побродить не спеша кривыми улочками среднеазиатского городка, забраться к кушкинскому Кресту, осмотреть окрестные сопки. А на обратном пути в Афган запастись привычной российской снедью и главное — спиртным. И хоть нормы провоза водки таможенники ограничивали двумя бутылками, редко когда везли меньше двух ящиков, растолкав по всем нычкам в колонне стратегический запас, которого с нетерпением ожидали оставшиеся в Шинданде. Так Кушка, помимо прочего, стала ещё и таким приятным напоминанием о Родине!

— Кушка, водка есть? — по привычке обращались офицеры к собачине. Та лишь в ответ строила глазки, смешно вертя хитрой мордой, да шевелила локаторами ушей: “Мол, о чём это вы, ребята?”

Первый рейс начисто отбил у Кушки всю страсть к путешествиям и охоту к перемене мест. Она бежала от машин, как ужаленная, и просто заходила в визге, когда Дулов пытался втащить её в кабину. Зато в батальоне она стала любимым ребёнком и быстро сообразила, что самое место для собаки — поближе к кухне и подальше от всей этой войны, колонн, оружия, машин.

Дочь породистых “немецких” родителей, росла она нескладухой, угловатым и неуклюжим щенком, до ненормального прожорливым и столь же игривым. Из комнаты Дулова, который не вылезал из рейсов, её переселили в тупичок в коридоре офицерской общаги, сколотив из патронных ящиков просторную будку.

Одно время Дулов ещё питал надежду всё же воспитать псину и обучить её доброму минёрному делу. Съездил даже в соседнюю дивизию в сапёрный батальон, показал Кушку местным кинологам. Собаку признали почти загубленной, но предложили оставить для тренировок и обучения, а ещё лучше — подарить. Дулов помялся и не решился оставлять любимицу. Кое-что расспросив, записав, решил сам попробовать натаскать её на поиск взрывчатки, но вскоре понял, что служба его и весь окружающий военный быт совершенно исключают эту возможность.

Тут у каждого под кроватью, как правило, припасён небольшой арсенал — гранаты, патроны, автомат или пистолет. Всё это постоянно таскали

и на себе — запах оружия, пороха, тротила, казалось, пропитал весь воздух казармы. А собаку нужно изолировать от всего этого, держать в специальном помещении, приучать отделять запах взрывчатки от тысячи других, чтобы в нужный момент она отработала свою задачу.

Да ещё и удержать Кушку на диете в обществе стольких искусителей было делом совершенно безнадежным, и он оставил эту бесперспективную мечту, объявив всем, что такие собаки в тылу нужнее!

А Кушка тем временем быстро сообразила своим собачьим чутьём, что лучше всего ей держаться поближе к начпроду батальона лейтенанту Вадиму Богатову, к слову, большому любителю собак. Тем более что хозяин её, старшей Дулов, почти не жил в казарме, не вылезал по обыкновению из рейсов — неделю в Торагунди и обратно. День на отдых в Шинданде, и ещё на две недели в Кандагар — на разгрузку! Спустя полгода прикухонной привольной жизни дружба с начпродом сказалась на Кушке. Стала она крепкой, не по возрасту статной псиной с роскошной, просто лоснящейся шерстью.

А крёстный Кушки, старший лейтенант Валерий Дулов, ушёл однажды в очередной свой рейс и больше в батальон не вернулся... Он, конечно, страшился и пули, и шального осколка, но случилось то, о чём ему больше всего не хотелось думать. В пустыне под Кандагаром его головная командирская машина, объезжая по обочине разрушенный фугасами участок трассы, наскочила на мину, взметнулась в пламени и дыму и осела, вздыбилась на оторванном заднем мосту. Когда подоспела помощь, солярка из пробитых баков занялась неспешным чадым пламенем, но никто и не думал тушить огонь, а по-быстрому вытаскивали из покорёженной кабины Дулова и Олефирова.

Оба были живы, в сознании, но серьёзно контужены и посечены осколками. Лежали на грязных матрасах в тени ивового куста в сухом арыке, истекая кровью, а ротный санинструктор Миша Алимов и замполит Игорь Несын рвали на них ключья окровавленной выцветшей “афганки”, перехватывали жгутами выше ран, кололи шприц-тюбики промедола в живот, в плечо, в живое тело. До Кандагара было ещё верст пятьдесят, потом ещё через город надо было прорваться, и ни одной колонне ещё не удавалось в последнее время преодолеть старый огромный полуразрушенный город без обстрела, и только там, на юго-восточной окраине мегаполиса, был наш госпиталь в составе немалой группировки войск. Долбаная связь даже здесь, на равнинной пустынной местности, не добивала до Кандагарской базы, но не напрасно всё же рвал глотку Валерка Побединский — ротный связист! Ответили с элеватора, с нашего блокпоста на въезде в Кандагар. Микрофон выхватил Несын и запросил вертушку, сообщил примерные координаты, попросил поскорей, пока “трёхсотые” ...не стали “двухсотыми”.

Олефиров сквозь зубы матерился и стонал, Дулов мотал головой и твердил одно лишь слово: “Почему, почему, почему?” Вопрос был риторическим, не требующим ответа. И так всё ясно... Потому что — война! И на каждом квадратном метре этой некогда благоденственной, а ныне проклятой и несчастной земли мог оказаться фугас, мина, засада, из-за любого куста или дувала могла просвететь пуля или осколок, не выбирая особо свою жертву.

Вскоре прилетела “вертушка”, покружила над колонной и, откликнувшись на рыжий дым сигнального огня, приземлилась на ровный, не тронутый пока фугасами участок бетонки впереди колонны. Это был не сантранспорт, а обыкновенная “восьмёрка” — трудяга МИ-8, с пулемётом в открытой двери, в полной боевой оснастке, увешанный НУРСами и ракетами — завернули её, очевидно, прямо с боевого выхода сюда, на подмогу. Носилок на борту не было. Раненных загрузили в вертолёт прямо, как лежали, на почерневших от запёкшейся на жаре крови матрасах. Пожелали держаться. И до встречи! Самим ещё до Кандагарской базы было, как минимум, полдня марша, если больше ничего не случится.

Больше ни Дулов, ни Олефиров в батальон не вернулись. В Кандагаре им сделали первичные операции, понавывдоргивали осколки, до которых смогли достать, зашили, залатали, заштопали, загипсовали и дальше — привычным трёхсотым маршрутом: сначала ташкентский военный госпиталь,

потом — кого куда. В Москву — в госпиталь Бурденко, в Ленинград — в полую хирургию Военно-медицинской академии...

Жизнь Кушки при начпроде Богатове удалась! По собачьим меркам, была она безмятежно-беззаботной и сладкой! Но, по общему признанию, псиной она стала никудышной — обленилась, раскабанела сверх меры и едва не растеряла свой природный благородный экстерьер. Она целыми днями отиралась в кустах на травке в тени общаги или лежала в своём закутке, на сквознячке, и почти не выходила из офицерской общаги. “Скучает по Валерке Дулову!” — поставили ей диагноз офицеры. Она и впрямь ещё долгое время шастала в комнату ротного, когда там бывало открыто, приноживалась, словно искала что-то, но, похоже, все его запахи вместе с вещами Дулова “уехали” в Союз. Койку его занял новый ротный — Николай Обдирко. Лейтенант подружился с собакой, но ритм и его жизни был, как у Валерки Дулова, его предшественника, — рейсы, рейсы, рейсы...

Так что по-прежнему главным смотрителем, хозяином и благодетелем Кушка почитала Вадима Богатова, сопровождала его тенью до склада и на общее построение батальона, встречала из столовой.

Впрочем, совершенно безмятежная жизнь собаки вскоре дала трещину. В батальон пришёл новый комбат, подполковник Воронин, и сразу невзлюбил Кушку. Напуганный рассказами о жутких афганских болезнях — тифах, гепатитах, — был он до того щепетилен в вопросах личной гигиены, что даже старался ни с кем лишний раз не здороваться за руку. А уж собаку в офицерском общежитии он просто решительно не потерпел, и “переносчица инфекции” с его приходом была переселена на улицу.

Будку поставили на северной стороне казармы, в тенёчке, но никто не видел, чтобы Кушка там ночевала: всё равно норовила она прорваться на своё законное место в офицерском модуле или, в крайнем случае, спала на крыльце под небольшим навесом.

Поставив крест на Кушке, офицеры строили планы относительно её будущего потомства. Подшефным офицерам батальона афганской народной армии и их коллегам из царандоя — местной милиции, — которые частенько заглядывали в наш автобат, собака очень нравилась, и они уже не раз спрашивали, когда суку будут вязать и почём будут продавать щенков. Суммы за будущий приплод предлагали весьма приличные, породистых собак могли себе позволить немногие местные ребята. Это, наверное, и подтолкнуло Богатова съездить к соседям-сапёрам и на всякий случай договориться о кобеле и о вязке.

Но у Кушки на этот счёт были свои планы, и вскоре все поняли, что с выведением породы малость опоздали. Где гуляла Кушка, с кем из местных афганских псов завела тайную дружбу, никто так и не узнал. Только забрюхателя она без усилий сапёрных псов — одной с нею породы немецких овчарок. Когда хватились, она уже рассекала по гарнизону автомобилистов гордой походкой залетевшей дамы, с отвисшим сверх меры животом и торчащими сквозь шерсть налившимися сосцами. Больше всех расстроился Богатов, строивший планы на то, что в обмен на пару щенков спроворит себе “Шарп-777” — модный двухкассетный стереокомбайн!

— Кушка, мать твоя — сука! Что ж ты не потерпела немного, я тебе такого красавца в женихи выписал! Хоть на аборт тебя отправляй, — незлобиво выговаривал ей начпрод. А та смотрела на него наивно-невинным взглядом, повивляла хвостом, как бы оправдываясь: “Ну, прости, хозяин, ну, так получилось. Любовь, ну, и это... природа берёт своё!”

Перед тем как оценить, Кушка и вовсе исчезла, и недели три её никто не видел и не мог найти. Подумали, что убежала вместе с приبلудными афганскими псами, что вечно крутились по периметру автобата, на свалке, за автопарком. Конечно, жаль было собаку — она уже практически стала частью обычного гарнизонного пейзажа — на привычном месте на травке у офицерского модуля, на батальонном утреннем разводе, на левом фланге, у выхода из офицерской столовой три раза в день, как по расписанию...

Все в батальоне, кроме Богатова, уже как-то смирились, свыклись с потерей. Вадима, как могли, успокаивали, мол, вернётся, кто ж с такого пайка

по своей воле соскочит!? Он и сам это понимал, но боялся, что псину могли выкрасть местные дуканчики-торговцы и перепродать куда-нибудь в соседний кишлак или город. Ну, уж тут ему предлагали, в шутку, конечно, написать объявления и развесить по дуканам Шинданда...

Прошло немного времени, и вот однажды утром, когда весь наличествующий состав батальона выстроился на утреннее построение, откуда-то из-под щитового модуля-казармы второй роты вылезла лохматая, исхудавшая, вклокоченная и грязная Кушка в сопровождении двух щенков, торжественно прошествовала перед строем под одобрительный хохот офицеров и солдат и улеглась прямо посреди плаца в лучах утреннего летнего тёплого солнца! Щенки — один абсолютно белый и второй, как уголь чёрный, — тут же привалились к ней под бок и припали к сосцам! Начальник штаба батальона майор Ивонин подождал, пока стихнут эмоции, и стал было докладывать комбату, но тот махнул рукой, скомандовал: “Вольно”! Умильная сцена не тронула сердце комбата, он, покачав головой и не оглядываясь на собак, двинул речь — что-то насчёт распространения инфекции. В конце своего санитарно-эпидемиологического спича он, всё так же не оглядываясь на собак, но теперь уже указав большим пальцем через плечо в их сторону, приказал убрать “весь этот тиф и гепатит” из воинской части.

Ни сам Богатов и ни кто-либо из офицеров этот приказ Воронина всерьёз, естественно, не воспринял. Впрочем, и особого расположения к потомству Кушки тоже никто не выказал — были щенки бастардами, внебрачные, нежеланные. Ну, а имена, что им ещё на первых смотрах “выписал” комбат, — “Тиф” и “Гепатит” — так и вовсе приклеились к кутятам намертво! Клички эти всех веселили — чёрный Тиф был пошустрее, белый Гепатит — чуть тормозннее, но весёлого нрава, тявкал на всех, невзирая на чины и звания. Они ни на шаг не отходили от Кушки, и теперь можно было наблюдать уже торжественную процессию — идут в столовую начпрод Вадик Богатов, следом — свита из Кушки и семенящих следом Тифа и Гепатита.

Но даже Богатову не под силу было содержать эту прожорливую ораву, и вскоре он снял с довольствия подросших и окрепших щенков. В батальоне Тифа и Гепатита особо не жаловали. Жили они там, где и родились, под казармой второй роты, днями бродили от автопарка до столовой в поисках, где и чем подкрепиться, с удовольствием подъедали хлебные корки и остатки рыбных консервов, не брезговали даже галетами из сухпаев.

Как-то вечером, отираясь на лужайке возле офицерской общаги, Тиф с Гепатитом остановили и облаяли комбата, который решил внезапно зайти и проведать, не пьёт ли его командный состав горькую по случаю праздника православной Пасхи. В ответ комбат разразился громоподобной бранью, и в итоге вся эта перепалка на входе в модуль спасла офицерский личный состав от лишних разборок и дисциплинарных последствий, а также водку от конфискации, что в условиях тотального дефицита “огненной воды” было не менее важным.

Щенки за бдительность наутро были премированы двумя банками тушёнки. Зато от комбата поступило предписание немедленно убрать “скотину” из батальона, пока он не дал команду перестрелять их. Отправлявшаяся на следующий день колонна Николая Обдирко прихватила щенков с собой в рейс — от греха и в надежде пристроить их где-нибудь в кандагарском гарнизоне.

Ночью на привале после первого дня марша Тиф с Гепатитом подняли такой лай, что перебудили всю колонну. Выяснилось, что к их лагерю пытался подойти солдат с ближайшего поста охраны, стрельнуть сигарет. Собак успокоили, солдаты поворочались, поругались недовольно, и только ротный Николай Обдирко что-то про себя, кажется, задумал...

Собакам в рейсе, похоже, понравилось. Ни на привалах, ни на разгрузке они никуда не убежали, держались в строю, поближе к зенитке, где им обустроили место в составе боевого расчёта под лавкой и небольшим навесом от солнца. За неимением других игрушек, были они любимцами в солдатской среде, с ними играли, дразнили, тренировали приносить палку, баловали консервами с “красной рыбой” — килькой в томате, которая всем уже настолько опротивела, что её без сожаления скармливали Тифу с Гепатитом.

Да и вообще, по сравнению с автобатовским жильём, кормили их в колонне, в рейсе, как на убой. Вечерами, когда варили горячее, парни, умаявшись за целый день на жаре за баранками, почти не ели, и тут уж остатки каши с тушёнкой перепалили щенкам от пуза — нажрутса тёпленького, животы раздуются, как футбольные мячи, и лежат в теньке под кабиной, не в силах запрыгнуть к себе, в кузов зенитки.

Обдирко оставил псов в колонне, решил не отдавать в Кандагаре. Понравилась ему, что ночью они не подпускают никого к стоянке, кто знает, где это может выручить. У них-то в батальоне не случалось, но рассказывали, что, дескать, было дело в горах, на Хайратонском направлении, ночью “духи” воспользовались тем, что караульный уснул, и полколонны вырезали, пока там хватились, что к чему.

Да чего там! Обдирко и сам не раз ловил своих заснувших караульных ночью. И ни хрена тут не поделаешь! Намаются за день пути, ночью — хоть спички им в глаза вставляй, засыпают, прямо как лошадь, — стоя! И тут ни наказания, ни подзатыльники не помогут: за неделю в рейсе так выматывает, что хоть к стенке ставь — спят в карауле, и всё! Уже по часу разбил дежурство, и по двое человек, и всё равно, как ни проверяй, один из двоих да уснёт.

Вот так месяца два Тиф с Гепатитом и колесили с авторотой Обдирко: днём — в составе зенитного расчёта, ночью — в обходе с дежурной сменой караула на стоянке. Ротный однажды похвастался перед офицерами батальона, что, как взял собак в колонну, его ни разу ещё не беспокоили “духи”. И как сглазил...

В следующем же рейсе колонна налетела на засаду на объездной вокруг Герата... Из огромного зелёного парка в районе старого отеля душманы ударили по машинам из гранатомётов и автоматов. Согласно приказу командира, на такой случай колонна должна, прибавив газу, прорываться, не останавливаясь. Зенитки — в гущу боя, прикрывают прорыв, а техзамыкание колонны эвакуирует раненых и подбитую технику. Всё было штатно, по-боевому, пока зенитка не вышла на боевую позицию и не начала отрабатывать по “духам”! Грохот зенитного спаренного орудия, изрыгающего до 600 снарядов в минуту, поверг в ужас Тифа с Гепатитом, их мигом сдуло с кузова зенитки.

Позже, когда атака душманов была отбита и прибыло подкрепление с ближайшего блокпоста, когда зацепили на сцепки покоцанную технику и отправили двоих легко раненных бойцов в ближайший госпиталь, кто-то вспомнил и про собак.

— Ну, и где наши герои? — осмотрелся Обдирко.

Зенитчики со смехом рассказали, как быстрее пули из ствола псы соскочили с кузова зенитной установки при первых же выстрелах ЗУ-2.

— Ну да, такого они ещё не слышали, — согласился ротный. — Первый бой, крещение боевое, простительно, чего уж там...

Когда “ЗИЛок” с зениткой завёлся, из-под колёс послышался собачий скулёж. Не без труда зенитчики вытащили забившегося под кабину Тифа, шкура его была вся серая от пыли, загривок — дыбом, глаза перепуганные, вида самого жалкого. Посвистели Гепатита, но того и след простыл... Искать пса было недосуг, надо было побыстрее сваливать из этого опасного места.

Обдирко привычно набивал патронами пустые после боя автоматные магазины, полные рожки кидал в ноги; на ближайшей остановке раздаст своим пацанам, кто не успел снарядиться за рулём. Вспоминал бой, анализировал действия замыкания, зенитчиков. Жалко было ротному двоих своих лучших водителей, которых посекло осколками, хорошие бойцы — Тарабрин и Балашов — опытные ребята, опора командира, дембеля уже считай! Даже если всё обойдётся, в роту уже могут и не вернуться из госпиталя! Пока вытаскивали Балашова, цепляли его машину на буксир, Тарабрин своей машиной перекрыл линию огня, прикрывал их пальбой из своего автомата, пока самого не зацепило... “Представление к наградам по возвращении нужно написать!” — сделал себе зарубку Обдирко.

Проехали километров десять от места обстрела, когда ротного окликнул его водитель и кивком указал на дорогу впереди. Там трусил неспешным шагом по обочине Гепатит, как ни в чём не бывало, не оглядываясь, не обращая внимания на проезжавшие мимо афганские бурбухайки и наши “бэ-эмпэхи”. Командирский “ЗИЛок”, поравнявшись с собакой, притормозил. Обдирко окликнул пса, тот завертел хвостом и, не веря своему счастью, бросился к офицеру!

— Вот же подлец! — радостно выругался ротный. — С поля боя дезертировал!

Только что выскочившая из-под обстрела братва, воспользовавшись неожиданной остановкой, высыпала на дорогу, всё ещё возбуждённая после боя; обсуждали душманский налёт, искали новые дыры в машинах, делились впечатлениями, а увидев Гепатита, все словно встряхнулись, расслабились и рассмеялись! Потому что многие видели, как пёс на рысях пульей обошёл притормозившую колонну и рванул по трассе впереди всех! Этот маневр едва не стоил Гепатиту клочки. Весь оставшийся рейс к нему обращались не иначе, как Дезертир. А на стоянке в Торагундях пацаны вырезали из фанеры два кружка и в шутку повесили псам по медали. Тифу — с надписью: “За мужество”, Гепатиту — знак “Дезертир”.

Пока Кушка жила сытой и спокойной тыловой гарнизонной жизнью, обласканная вниманием начпрода и офицерского коллектива, дети Кушки не вылезали из боевых — почти всё время в колоннах: рейс на Союз, там — сутки на погрузку, обратно в Шинданд, ещё сутки на отдых и потом — на десять дней в Кандагар, на разгрузку. Тиф и Гепатит уже почти догнали мамашу ростом, но, похоже, папашина кровь полностью доминировала в их экстерьере — ничего общего с немецкой овчаркой не было, ни на шерсти клочок! От комбата насчёт них Обдирко как-то отбрехался, заявив, что псы здорово помогают ночью в охранении колонны. Воронин вроде и смирился — лишь бы их в батальоне не было. Ну, так их там почти и не было.

Вот ещё особенность была у Тифа с Гепатитом — были братья-кобели — как попугай-неразлучники. Не отходили друг от друга ни на шаг. Что в колонне, в рейсе, что на привале, что в автопарке на передышке. Как нитка с иголкой: куда один, следом другой. Как-то в шутку Обдирко предложил оставить Гепатита в батальоне, так Тиф на ходу выпрыгнул из зенитки и рванул в автопарк, где под баней им оборудовали будку и оставили привязанным брата.

При этом то ли Андрей, то ли Мишка Пастухов (Обдирко так и не научился различать двойняшек) многозначительно заметил, что различать близнецов нельзя.

— Близнецы! — хмыкнул Обдирко. — Один — белый, другой — чёрный, два весёлых гуся!

...Рейс как-то сразу не задался. Бочку с водой, притороченную к кузову обычного “ЗИЛка”, сорвало на одном из крутых поворотов — гидроудар, высокий центр тяжести, тросы-растяжки не выдержали, и колонна осталась без водозовки и без воды. То есть, конечно, пока вытекала вода из деформированной бочки, наполнили, у кого что было из канистр и фляг. Но впереди был перегон в 500 километров по раскалённой пустыне, и на этом отрезке пути особенно кипели радиаторы, требуя свежей холодной воды или остановок для передыха. Да и для готовки пищи, и просто питья обычных штатных фляг всё же было маловато.

Следом один за другим посыпались новые сюрпризы: то двигатель стукнул, и пришлось цеплять машину на сцепку и тормозить общую скорость колонны, то одно за другим колёса меняли на нескольких машинах — не иначе чего насыпали на дороге в ожидании прохождения нашей колонны недобрые люди... Всё это очень не нравилось Николаю Обдирко, он нервничал, гнал колонну, нагоняя время, чтобы успеть до темноты добраться до Гиришка — привычной их стоянки по дороге на Кандагар, где был ручей, и можно было восполнить запас питья, да просто помыться и напиться властью студёной воды.

Но, как ни подгонял колонну Обдирко, последние десятки километров до Гиришка шли в полной темноте, только луна освещала бетонку, рассекающую

надвое пустынно. В предвкушении отдыха все уже расслабились и готовились к отбою — побыстрее растянуться на матрасе на крыше кабины, можно уже и без ужина, ну, может, ещё только в ручье искупаться! Кто-то уже переобулся сапоги и рулил остаток пути в тапочках, а уж бронезилеты так все поголовно с себя снимали и вывесили привычно на водительских дверях. Темно, командир не увидит!

И тут же поплатились за неосторожность! Прямо перед стоянкой у ручья “духи” почти вплотную подоברались к дороге по “зелёнке”, обступившей с двух сторон эту почти пересохшую речку, и ударили по колонне шквалом огня! Действовали грамотно: первым делом выцелив зенитку, шмальнули по ней из гранатомёта. С тридцати метров трудно было промахнуться — экипаж зенитки накрыло! Диму Есенкова, сидевшего за зениткой, буквально порвало тысячько осколков. Досталось и Гепатиту — ему вспорол бочину и оторвало лапу, сквозь канонаду стрельбы время от времени прорывался его дикий жалобный вой. Тифа взрывной волной выбросило с зенитки, он лежал оглушённый в арыке, высунув язык, мотал беззвучно башкой. Рядом лежал второй зенитчик, раненный, но живой Серёга Седченко. Он гладил, успокаивая, пса, а второй, не раненной рукой пытался как-то управиться с автоматом.

Колонна стопорнулась и оцетирилась огнём автоматов. И сразу как-то полегчало и отлегло — всё же не в одну калитку бой. Ночь давала и преимущества: можно было легко переползть от машины к машине, заметить, откуда летят трассера, и пусть самих душманов не было видно, но Обдирко отчётливо понимал, что их не больше десятка и что сидят они все плотно по берегу речки, и что отходить им некуда, кроме как по этому ручью в сторону долины и гор. А чтобы не было у них искушения подойти ближе и ещё раз вмазать по колонне из гранатомёта, решил Обдирко не окапываться, а рвануть навстречу духам, отгеснить их от машин. Оставив взводного Маньшина разруливать ситуацию на месте, ротный вместе со своим водителем и ещё тремя бойцами бросился в ручей и по течению вниз стал пробираться туда, откуда колонну поливали свинцом.

Когда прозвучал второй выстрел из гранатомёта, Обдирко показалось, что стрельнули прямо у него над головой. Снаряд минул колонну, разорвавшись где-то дальше, в кустах на другой стороне ручья и дороги. А ротный, слегка оглушённый выстрелом, на ощупь, прямо по курсу вылетевшей гранаты высадил длинный сорокопяттипатронный пулемётный рожок, густо напшиговав свинцом пространство перед собой. Перекатился, отполз по прохладной воде ручья, вслед за ним маневр командира повторили его бойцы, следовавшие чуть сзади за ним. В стане врага заматались, гортанные крики перемежались со стонами, и огонь по колонне был уже не таким сосредоточенным, били уже и над головами ротного и его небольшого авангарда. Духи побежали, дрогнули, сработал маневр Обдирко. И Николай, не давая им опомниться, гнал вниз по ручью банду, напавшую на колонну, наседая, давя огнём пространство перед собой, впрочем, не увлекаясь и не уходя далеко от своих, от колонны.

Перестрелка длилась ещё часа два. За пару часов до рассвета стрельба прекратилась совсем. Духи ушли, чтобы днём раствориться среди гор, среди зелени долины, среди мирных дехкан. А в колонне Обдирко до утра горевали по погибшему товарищу. Димку Есенкова завернули в плащ-палатку и уложили рядом с искорёженной зениткой. Кроме Седченко, было ещё двое раненых и один контуженый. Их перемотали, как могли, и ждали утра, чтобы вызвать подмогу. Груз стройматериалов практически не пострадал, а вот самим машинам досталось: выбитые лобовые и боковые стёкла, дырявые кабины и текущие от пробоев баки, пробитые скаты колёс. В ремонте машин и суете провели раннее прохладное утро, потом прикатили два БТРа из ближайшего гарнизона, забрали раненых и Есенкова. Обдирко заполнил скорбные сопроводительные бумаги, попросил, чтобы до его возвращения не отправляли гроб в Союз и не сообщали ничего семье солдата... “Пусть пока будет для них живой... С мёртвым они ещё наживутся”!

Когда колонна кое-как была поставлена на ход и уже готова была тронуться в дальнейший путь, к Обдирко подошёл Маньшин:

— Там ещё дело, командир ...

Пошли вдоль колонны, остановились у зенитки. Ни одного живого места, борт — как решето, второй и вовсе сорвало, механизм орудия разворочен, стволы изогнуты, словно побывали в гигантском трубогибе. На полу кузова со страшной раной в боку лежал Гепатит с оскаленной пастью и открытыми глазами, уже не дышал. Две лужи крови — человека и собаки — смешались. Обе уже не красные, а буро-коричневые и местами чёрные, запёкшиеся.

— Похороните его! — попросил Обдирко.

И двое ребят за десять минут выковыряли в ссохшейся земле небольшую яму, куда отнесли пса, завернув в грязную простыню. Уже хотели зарывать, но Мишка Пастухов оттолкнул товарища, наклонился к псу и сорвал с шеи деревянный медальон с надписью “Дезертир”.

“Теперь давайте!” — и комья серой земли присыпали нештатного бойца колонны 52-12 на месте принятого боя и гибели. Обдирко достал пистолет, трижды отсалютовал в небо и скомандовал: “По машинам”!

Перед самым отъездом откуда-то прибежал Тиф. В горячке про него чуть не забыли. Маньшин посадил его к себе в кабину машины техзамыкания.

После этого боя Тиф затосковал и всё реже и реже уходил с колонной в рейсы. Чаще оставался, сбегая перед отъездом куда-нибудь в родовое гнездо под казарму второй роты или отсиживался где-то в укромном уголке автопарка, а после отъезда обдирковской колонны слонялся по части чёрной тенью. Он давно уже перерос Кушку и превратился в огромного широколобого пса непонятной породы. Днём он спал где-нибудь в автопарке за баней, а ночью бродил чёрной тенью, пугая часовых на постах и дежурных в ротах. Стал он на редкость агрессивным, почти никого к себе не подпускал и на беду однажды опять столкнулся с комбатом, немало перепугав его своим грозным рычанием.

Наутро комбат вызвал к себе начальника столовой, прапорщика Луценко, и приказал застрелить Тифа. Тот взял пистолет и послушно потопал в парк, искать псину. Тиф лежал на своём привычном месте у бани и дремал. Когда к нему подошёл начальник столовой, пёс поднял голову и долгим взглядом, не отводя глаз, смотрел на Луценко, словно понимая, зачем тот пришёл. Прапорщик кинул псу кость, которой он надеялся приманить собаку, но Тиф даже не повернул голову в её сторону. Луценко достал пистолет, передёрнул затвор, постоял немного, потом вытащил обойму, передёрнул ещё раз затвор, поднял с земли выскочивший патрон и зашагал прочь из парка.

За обедом Луценко доложил комбату, что не нашёл Тифа. Он думал, что дождётся Обдирко и попросит увезти пса куда подальше, оставить, в конце концов, где-нибудь в дальнем афганском гарнизоне — не пропадёт собака, прибьётся к кому-нибудь... Но вечером комбат сам нашёл Тифа и, не раздумывая, разрядил в него пол-обоймы из “Макарова”.

Вернувшийся в тот же день из рейса Обдирко, узнав о случившемся, в хлам разругался с комбатом и пошёл в парк хоронить Тифа.

“Мало тебе здесь крови пролито? Хочется пострелять — так с колонной поезжай, настреляешься, вояка! — продолжал свой теперь уже заочный спор с комбатом Обдирко. — Что ж тут с людьми-то происходит, откуда вдруг вылезает в некоторых всё дерьмо, вся злоба, ненависть? Война, что ли? Так она всем — война. Но как она всё же по-разному раскрывает людей...”

Собаки нигде не было. Облазив все закутки, Обдирко нашёл раненого пса под баней. Вытащил Тифа, отнёс на руках в санчасть, положил осторожно грязную псину на стерильную кровать в процедурной, заявив доктору Женьке Кирсанову, чтобы тот делал, что хочет, но пес должен жить!

Две сквозные раны были не страшными, а вот ещё одна — в грудь — Кирсанова раздосадовала. Пуля пробила лёгкое собаки и выскочила в районе позвоночника, хоть и не задев кость. Тиф спокойно перенёс все манипуляции, уколы и шитьё по живому. После операции вымыли руки, и Обдирко накатила с Кирсановым по рюмке медицинского спирта за здоровье пса. Собаку ротный решил не оставлять в санчасти, утащил к себе в комнату, в офицерскую общагу.

За два дня, пока колонна Обдирко стояла на обслуживании и готовилась к очередному выходу, Тиф понемногу начал приходить в себя. Обдирко колел ему антибиотики, кормил тёплой тушёнкой, молоком, менял два раза в день повязки. Собака терпеливо переносила процедуры, нехотя ела и лежала в углу на матрасе, положив голову на лапы, наблюдая за несуетной жизнью офицерского кубрика. К вечеру второго дня Тиф встал и, шатаясь, подошёл к двери, намекая на прогулку. Ротный схватил своё цветастое, из афганского дукана полотенце, просунул конец под брюхо и, подвесив слегка Тифа, как в гамаке, повёл или понёс собаку во двор.

“Вот ты, сука, Воронин, всем беды наделал! Чтобы тебя так в старости таскали!” — бурчал Обдирко, глядя, как мучится пёс, с трудом переступая по траве. Назавтра в рейс, а он не решил ещё, кому пристроить Тифа, и досадовал по этому поводу.

Но наутро всё решилось само собой. Завидев боевые сборы Обдирко, привычную боевую экипировку ротного, Тиф неожиданно легко подхватился со своего ложа и, виляя хвостом, закрутился у ног командира. В знак готовности к рейсу он опустошил всю миску с тушёнкой, отхлебал полмиски воды и смотрел на Обдирко, словно в ожидании команды.

— Ну, не знаю! Давай, Тиф, поехали, что ли. Не подведи только!

Ему постелили на привычном месте, в зенитке, уже, правда, другой, новой, пришедшей на смену разбитому “ЗИЛку”, на базе новехонького “КамАЗа”. И навес тут был побольше, и под лавкой, в тенечке просторнее, а на ходу ещё и вполне комфортно обдувало ветерком, хоть и жарким, но свежим. Получив утреннюю дозу лекарств, Тиф повеселел, вытянулся поудобнее на старом матрасе и заступил на боевое дежурство.

Настроение поднялось и у Обдирко. Задумал он в Кандагаре отвезти Тифа в наш военный госпиталь к местным кудесникам — полевым хирургам. Были у него там должники, возил им, было дело, водку и шампанское из Союза, а денег при этом никогда не брал. Из суеверия какого-то солдатского. Всё отшучивался, чтоб, мол, потом за нитки и анестезию обратный счёт не выставили...

“Ну, уж если людей по запчастям собирают, неужто собаку не заштопают!” — мечтал Обдирко.

Вечером первого дня марша, сразу после привала, к нему пришёл зенитчик сержант Сергей Седченко. Это был его первый рейс после возвращения из госпиталя, ротный попросил его вечером встретиться, посидеть, поговорить, хотел расспросить про лечение, про раненых из роты, отправленных по госпиталям... Но по виду сержанта всё понял и осёкся:

— Тиф?

Седченко кивнул.

И был это опять всё тот же Гиришк! Утром, перед выходом колонны, Тифа похоронили где-то рядом с тем местом, где прикопали и брата его Гепагитата. Земляной холмик привалили камнями и на оцинкованной крышке от коробки из-под патронов Седченко уже хотел было написать имена собак. Но потом подумал, что табличка будет смотреться двусмысленно, и нацарапал по зелёному полю: “Дети Кушки”.

Обдирко снял с плеча автомат и гвозданул в небо три короткие очереди. И резюмировал: “Бляха-муха, ну, когда же закончится вся эта долбаная война”!

Солнце ещё не пробилось из-за горизонта далёких гор, и у них было часа полтора-два комфортного пути, надо было сделать рывок, чтобы добраться по светлomu в Кишкинаход, к богатому рыбой и крабами ручью, рассекавшему пустыню. Колонна выкатилась на бетонку и растянулась по степной серой равнине почти на километр по курсу на Кандагар. В головной машине, не особо вглядываясь в привычно-нудный пейзаж, хандрил командир первой авторыты шиндандского 126-го автобата лейтенант Николай Обдирко. И хотя два афганских года начисто лишили его сентиментальности, он вдруг загрустил, до щемящей боли в груди затосковал по дому, по Союзу, по жене. Всё как-то враз нахлынуло и навалилось на него с этим вроде не самым драматичным эпизодом в его боевой афганской эпопее. Что-то неизведанное

им, несознанное пока, вдруг щёлкнуло внутри ротного и сломалось в высшей точке постоянного напряжения. Если бы он был в этот миг один в этой кабине, он, возможно, просто заплакал бы по-детски и вырыдал, выстонал бы, проорал бы в голос всю накопившуюся боль войны, беды, несправедливости и своего отчаяния... Но он не мог! Потому что был он старшим не только по званию, но и — в свои 23 года — по возрасту старшим среди всех своих пятидесяти подчинённых солдат, и они, почти ровесники, полагались на него здесь, держались за него, как за отца родного! Подавив комок в горле, простонав про себя, он высунул голову в открытое боковое окно и зажмурился, подставив лицо встречному, бодрому по-утреннему воздушному потоку.

Он просто устал, наверное, терять своих солдат, своих друзей, близких, устал от постоянного напряжённого и неизбежного ожидания этих потерь, устал от сумасшедшего ритма этого бесконечного затяжного двухлетнего рейса по этой проклятой и убитой дороге через войну... Он даже не пытался что-то анализировать и что-то понять — почему это вдруг щёлкнуло на похоронах пса? Ведь ничего особо героического не было в судьбе этой собаки! Хотя, конечно, ротный числил её членом своей команды, и не просто другом человека, а *боевым другом*, откатавшим с колонной не один десяток рейсов...

Каким бы незначительным эпизодом ни смотрелась её судьба на фоне настоящего горя войны — личного скорбного мартиролога ротного Обдирко, — а смерть Тифа, тем не менее, царапала, саднила душу. Может, если бы погиб он не из-за дурацкой бессмысленной прихоти штабного самодура, а как брат его, в бою, было бы не так обидно и несправедливо...

Долго ещё в этот день думал ротный о войне, о человеческих и собачьих судьбах. Благо дорога и дальний рейс располагают к таким раздумьям.

* * *

Полгода спустя, в мае 1988-го начался великий исход! Долгожданный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В числе первых навсегда покидал афганскую землю шиндандского гарнизона и уходил в Союз наш 126-й автобат. В составе первой роты в головной машине старшего лейтенанта Николая Обдирко совершала свой второй рейс в жизни немецкая овчарка Кушка. Её “хозяина”, начпрода Богатова, незадолго до этого откомандировали в штаб бригады, в Кабул, и Обдирко прибрал умную псину к рукам.

Путь на Родину Кушка перенесла гораздо лучше. Так оно и известно ж — дорога к дому всегда легче! Хотя, где теперь дом Кушки, где её Родина — поди разбери... Собака сидела, уткнувшись длинной чёрной мордой в колени ротного, и, время от времени открывая глаза, поглядывала то на Обдирко, то на его командирского водителя. Ротный трепал её загривок, как бы успокаивая и утешая её. “Вот ведь собачья судьба — она ведь тоже потеряла на этой войне своих детей! И теперь навсегда покидает землю, где они похоронены. Понимает ли она это, интересно? Ни хрена не понимает, и может — слава Богу! — размышлял Обдирко. — А вот как забыть эту войну матери погибшего солдата Димы Есенкова, тысячам и тысячам других матерей, родных, потерявших на этой земле самое дорогое!”

А мозг всю дорогу в Союз саднила мысль: “Да откуда нам на самом-то деле знать, что там творится в душах братьев наших меньших?..”